

Татьяна Венедиктова

Прагматический поворот — со скрипом

Tatiana Venediktova

The Pragmatic Turn, with a Creak

Татьяна Венедиктова (МГУ; профессор филологического факультета; заведующая кафедрой теории дискурса и коммуникации; доктор филологических наук) tvenediktova@mail.ru

Tatiana Venediktova (Dr. habil.; Professor and Chair, School of Philology, Department of Discourse and Communication Studies, MSU) tvenediktova@mail.ru

Ключевые слова: литературная прагматика, прагматизм, социальность, воображение, эстетический опыт, воплощенное знание, преподавание литературы

Key words: literary pragmatics, pragmatism, sociality, imagination, aesthetic experience, embodied cognition, literary pedagogy

УДК: 82.0

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_189

UDC: 82.0

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_189

Литературная прагматика предполагает внимание к тексту как к многослойной интеракции с участием виртуальных и реальных субъектов, с учетом множественных, изменчивых и в разной степени воображаемых контекстов. Эта работа ассоциируется пока нередко с применением к художественным текстам инструментария лингвистической прагматики, но полноценная ее реализация требует большего. Важна динамичная и плотная вовлеченность филологии в междисциплинарные сотруднические альянсы (с антропологией, психологией, когнитивистикой, социологией), а также грамотная разработка инсайтов, восходящих к классике филологического прагматизма, — связанных с природой культурного, познавательного, эстетического опыта. Перенос акцента с текста-как-объекта на текст-как-взаимодействие обуславливает и необходимость обновления литературно-педагогических практик.

Literary pragmatics presupposes attention to the text as a multilayered interaction with the participation of virtual and real subjects, taking into account multiple changing contexts that are imaginary to varying degrees. This work is often still associated with application of the tools of linguistic pragmatics to literary texts, but its full implementation requires more. What is important is the dynamic and close involvement of philology in an interdisciplinary working alliance (with anthropology, psychology, cognitive science, and sociology), as well as the appropriate reworking of insights dating back to classical philological pragmatism related to the nature of cultural, cognitive, and aesthetic experience. The shift in emphasis from text-as-object to text-as-interaction also gives rise to the need to refresh literary and pedagogical practices.

Когда и кто первым решил подумать о языке как о действии, среде взаимодействия, энергетическом ресурсе? Установить невозможно, хотя бы потому, что соответствующий интерес — к возможности осуществлять действия при помощи слов — неотделим от языкового творчества как такового. Перевооружаясь технологически, сначала посредством письменности, потом печати, потом электронного сигнала, слово по-разному являло свою силу и бессилие. Вопрос о языковой магии поднимался не раз, но... едва ли можно сказать, что мы приблизились к овладению ею или ее разоблачению¹. Зона соответствующего ис-

1 В интеллектуальном детективе Л. Бине «Седьмая функция языка» [Бине 2020] самая загадочная из функций языка, дополнительная к общеизвестным шести, выведен-

следовательского внимания тем не менее оформилась и за последние полвека стала как никогда влиятельной. Она обозначается словом «прагматика», — не очень удобным в качестве термина, поскольку за ним тянется шлейф слишком разных значений.

Оглядываясь в историю, мы видим длинную цепочку метамоз: от греческого *pragma* (вещь, дело, действие) образовалось позднелатинское прилагательное *pragmaticus* (имеющий отношение к действию, действительности), которое обитало в европейских языках относительно незаметно, пока Иммануил Кант не пригласил его в науку. Последняя работа, опубликованная философом при жизни — «Об антропологии с прагматической точки зрения» (1798), — открыла «вид» на человека, осознающего себя не (только) дитятей природы, но свободно действующим агентом, способным к созиданию и самосозиданию. Это важное, если не определяющее, для современности значение слова заодно с самим словом подобрал у Канта Чарльз Пирс, а еще позже позаимствовал (к неудовольствию Пирса) Уильям Джеймс. На рубеже XIX и XX столетий философский «прагматизм» стал сначала американской, потом международной модой и, даже перестав ею быть, сохранил присутствие на интеллектуальной сцене.

«Новое волевое устремление» мысли, как сказал в 1910 году о заокеанской новинке Семен Франк (см.: [Дёмин 2019: 166]), определялось желанием фокусироваться не на умозрительных сущностях, самодостаточных объектах или объективных системах знания, а на субъектах, процессах, контекстах деятельности, на опыте отношений, на конкретных формах соучастия и режимах вовлеченности. Прагматизм, настаивал Джеймс, «прежде всего метод» (*primarily a method*), именно и «только ориентирующая установка» (*only an attitude of orientation*) [James 1987: 510], свободная от претензий на статус учения или доктрины. «Устремление», оно же «метод» и «установка», слабо отвечали позднее сложившемуся структуралистскому вкусу к строгой научности, но иным запросам культурной и интеллектуальной жизни соответствовали успешно. Из гуманитариев, работавших в постструктуралистском ландшафте второй половины XX века, редко кто не был близок в той или иной степени прагматизму, хотя редко кто себя числил прагматистом буквально. Импульсы прагматически направленного интереса происходили из разных источников, транслировались через разные интеллектуальные среды, образуя движение с общим вектором и множеством поворотов.

Способ описания научной жизни посредством «поворотов» как раз в эту пору приобрел популярность. За «поворотом к знаку» последовал «лингвистический поворот», дополненный «поворотом к читателю» (адресату, реципиенту). Начиная с 1980-х годов на внимание ученого сообщества претендовали поочередно, а то и одновременно, повороты «перформативный» (*performative*), «опытный» (*experiential*), «когнитивный» (*cognitive*), «медийный» (*medial*), «материальный» (*material*) и еще иные. Каждый следующий сменял и вре-

ным Романом Якобсоном, — магическая. В романе это предмет интереса полицейских, политиков, медийных персон и ученых, гуру семиологии и деконструкции. Читая произведение, действие которого отнесено к 1980 году, во второй-третьей декаде XXI столетия, ясно ощущаешь, что теоретическая проблема, из которой рождается интрига, растворившись с тех пор еще глубже в повседневных коммуникативных практиках, нового освещения так пока и не получила.

менно затмевал предыдущие, не скрывая родственной преемственности в отношении их и создавая ощущение неустанного продвижения, освоения все новых территорий.

По-русски есть выражение «сапоги со скрипом», — иронически напоминаящее о престолярной моде на скрип как звучное оповещение о еще-неношенности обуви. Скрип — способ привлечь внимание к новизне, продемонстрировать ее как завидное достоинство. В той мере, в какой научная коммуникация последних десятилетий — на Западе больше, чем в России, — подражала рыночной, медийный «скрип» воспринимался как а) свидетельство здоровой инновативной активности и б) практическое средство раскрутки интеллектуальных брендов. Даже оглядку на подзабытое старое можно выигрышно представить как новаторский прорыв, — и в философии, например, «прагматическим поворотом» назвали проснувшийся под конец XX века интерес к «классикам»: Пирсу, Джеймсу, Миду, Дьюи. Теперь, однако, они предстали как (по Фуко) «основатели дискурсивности», и их опыт оказался релевантен не только для философов.

«Нет сомнения в том, что устремленный вперед и нестабильный характер американской жизни облегчил рождение философии, рассматривающей мир как бесконечно становящийся, открытый неопределенности, новизне и реальному будущему» [Dewey 1998: 12], — так писал Дьюи в 1925 году в статье «Развитие американского прагматизма». Сказанное об Америке справедливо, конечно, и в отношении многих других контекстов, — где «параллельно» зреют близкие форматы мысли. С этой точки зрения, например, пока еще недостаточно исследовано творчество М.М. Бахтина или Л.С. Выготского².

Понятие «прагматика» состоит с «прагматизмом» в родстве через семиотику. В этот особый раздел науки о знаках Чарльз Моррис предложил складывать все, что не помещалось в семантическом и синтаксическом описании языковых явлений, — связанное с пользователями и контекстами пользования речью. Объем того, что «не помещалось», но требовало к себе внимания, быстро нарастал, — так в 1970-х годах возникает лингвистическая прагматика и превращается за следующие полвека в процветающее научное поле. С самого начала поле это отличалось эклектичностью, пестротой и рыхлостью, во многом и по сей день таким остается: кто занимается речевыми актами, кто — дейктикой, кто — принципами организации спонтанной устной речи или правилами речевого сотрудничества. На художественную литературу интерес «отцов» нового направления — философов Дж.Л. Остина, Дж. Серля, П. Грайса — исходно не распространялся, — предложенные ими подходы стали предметом лингвистической разработки и лишь со временем были опробованы на поэзии и прозе. Литературная прагматика возникла, таким образом, с некоторым «запозданием» и, возможно, в силу вторичности большим обаянием не располагала [Венедиктова 2015]. Но в последние десятилетия ситуация ощущимо меняется. Усилие сосредоточиться на художественном тексте, переживаемом как процесс взаимодействий, рождает у литературоведов все более серьезный интерес к «значениям, возникающим за пределами лингвистической структуры» [Literary Pragmatics 2015: 27], к поиску альтернатив привыч-

2 Примеры сближений, пока лишь точечных, привести нетрудно. Ср. главу с выразительным названием «Любопытное сходство: Выготский, Мид и американский прагматизм» [The Cambridge Companion 2007]. См. также статью [Lorriggio 1990].

ным представлениям о языке как о системе кодов и к новым, неожиданным междисциплинарным альянсам.

1. Опыт высказывания и высказывание как опыт

Вопрос «что делает?», применяемый к литературному тексту вместо более привычного «что значит?», сопряжен с рисками хотя бы потому, что выводит за предел обжитой, предсказуемой, «нормальной» (по Т. Куну) филологической науки. Во главе угла располагаются теперь не структуры языка, наблюдаемые глазом, дисциплинированным и вооруженным лингвистикой, а интересубъективные действия, «события» по преимуществу «текущие», слабо осознаваемые, сопротивляющиеся рационализации. Но этот же вопрос — «что делает?» — возвращает нас к базовой, интригующей для литературоведа загадке: что такое литература и для чего она нам нужна?

Вопрос о природе «литературности» ставился, как известно, много раз, но объективировать отличие литературной речи от «просто речи» так никому и не удалось. Очевидно, что дело не в особой формальной устроенности художественного текста (например, повышенной сложности или герметичности), а в формах внимания к нему и в отношениях, которые соединяют с ним читающего. То, что действия производятся текстом внутри субъекта и «понарошку», в отсутствие каких-либо прямых результатов (на каком основании Джон Остин считал их неполноценными, *etiolated*), не значит, что они не происходят, более того: в воображении мы можем себе позволить даже то, на что не рискнули бы, имея такую возможность, в реальности. Предъявляя читателю некое условное прошлое, литературное произведение косвенно адресует его (читателя) будущему. Виртуальный опыт, приобретаемый таким образом, мы удерживаем про запас, как некий резерв. В работе на будущее, ближайшее или отдаленное, кажется, и состоит «польза» литературы, — если пользу понимать широко, как открытую совокупность возможностей, к чему и приглашает корневая основа слова («льзя», то есть можно).

Коммуникация опыта, как мы знаем сегодня, предполагает по преимуществу «непрямое» использование языка, — когнитивистика активно осваивает в связи с этим понятие образ-схемы [Johnson 1990], или телесной, или миметической схемы [Zlatev 2005]. Речь во всех случаях идет о простых, но гибких, легко трансформируемых шаблонах, структурирующих наш опыт на доконцептуальном, доязыковом уровне — чувственно-эмоциональных модальностей восприятия и познавательной деятельности. В литературоведении пионерские работы в этом направлении (например, Марка Тернера [Turner 1996]) широко цитируются, хотя полноценной реализации оно пока не получило. Нарастающий интерес к миметике, непосредственной воплощенности, «материализации» смыслов, их аффективной окрашенности и наполненности, так или иначе, налицо, его нельзя не заметить³. При осмыслении этой относительно новой проблематики полезными оказываются ранние инсайты праг-

3 Канадский нейропсихолог Мерлин Доналд так резюмирует этот подход: «Литература в поверхностно наблюдаемых формах как будто бы больше зависит от языка, чем от непосредственного подражания, <но> в последнем счете ее формируют миметические импульсы, исходящие из глубин сознания писателя» [Donald 2006: 19].

матистов, — те самые, которыми аналитическая философия языка склонна была пренебрегать⁴.

Трактуя опыт как взаимосвязь (отнюдь не противоположение!) чувственного и умозрительного, Уильям Джеймс, например, остро интересовался именно теми элементами в языке, которые за неимением более подходящего названия он описывал как «транзитивные». Фактически это зоны контакта, точки перехода, лигатуры, отношения, возникающие ситуативно и остающиеся безмянными, поскольку от означивания они ускользают. С точки зрения «нормальной лингвистики», — несущественная периферия (Джеймс и описывает ее метафорически как *fringe* или *halo* — бахрома, кромка, ореол, экспериментальный край), но с точки зрения психолога, антрополога, литературоведа — фокус потенциального интереса. Использование языка, которое кажется «непрактичным» и «непредставительным» в силу неоднозначности, неинформативности, неполноты, нестабильности контекста, непрозрачности интенции, таит в себе массу возможностей, драгоценных с точки зрения передачи опыта.

Не менее бурные дебаты развертывались в последние десятилетия вокруг категории эстетического, — и здесь тоже установки, продвигавшиеся прагматистами сто и более лет назад, оказались ложкой к обеду. Эстетикой словесного творчества «родители» прагматизма не занимались вплотную, но для них это была осязаемая лакуна, — иначе зачем бы Джону Дьюю на склоне лет братья за ее заполнение? В книге «Искусство как опыт» [Dewey 1934] он призвал отказаться от представлений об эстетике как об особой сфере, упорядоченной по законам красоты, отдельной и от полезно-практической деятельности, и от повседневной жизни. Эстетический опыт понят как наиболее полное проявление жизненного опыта как такового. Сегодня эта идея вызывает среди гуманитариев широкое сочувствие, и перед литературоведом, готовым принять прагматическую посылку, маячит допуск в огромное и разнообразное поле сотрудничества.

2. Социальность и/как активность воображения

«Общество» (*society*) как система, независимая от индивида, относительно стабильная и внутренне упорядоченная, с прагматической точки зрения менее интересна, чем «социальность» (*sociality*): совокупность практик, процессов и событий, в которых проявляется человеческая способность генерировать отношения и взаимосвязи самой разной природы. Оптимизация связей и отношений не осуществима путем директивного планирования, — она предполагает учет индивидуального, искусство гибкого маневра, работу со структурами воображаемого. У этой «хитрой», принципиально асистемной позиции есть свои плюсы и свои минусы. Те и другие интересно описывает Корнелл Уэст в книге «Американское уклонение от философии. Генеалогия прагматизма» [West 1989]. В ней он говорит о характерном для американской интеллектуальной традиции (не всей в целом, а ее прагматической составляющей) «уклонения» (*evasion*) от того, в чем общество традиционно усматривает долг мыслящей элиты: быть источником культурной респектабельности, надежного знания направляющих основ. Прагматист, независимо от характера политических убеждений, исходит из гипотетичности, неокончателности любой истины, до-

4 См. об этом: [Pragmatism and Embodied Cognitive Science 2016].

пускает всегдашнюю вероятность ошибки, — поэтому склонен к непоследовательности: в XX веке, показывает Уэст, многих бросало из левого утопизма в махровую охранительность или наоборот, что никого не делало счастливым. Под обложкой книги собралась причудливо-пестрая компания, в которую, помимо национальных американских классиков (Ральф Уолдо Эмерсон, Уильям Джеймс), входят мыслители самых разных направлений, включая и вовсе не американцев вроде Антонио Грамши, Мишеля Фуко или Роберто Мангабейры Унгера. Что их объединяет, на взгляд Уэста, при всей непохожести? Усилие строить многомерные модели опыта и именно на них опираться, размышляя о желаемых и возможных социальных трансформациях.

В качестве примера можно привести опыт Унгера, чьи симпатии к прагматической традиции довольно очевидны⁵. В книге «Ложная необходимость: антидетерминистская социальная теория на службе радикальной демократии» (1987) он размышляет о коммуникативных потенциалах социокультурных сообществ, поднимая, например, такие вопросы: какими формами воображения (включая воображаемые страхи) определяется привычное коллективное поведение? какие формы защиты от предполагаемых источников опасности опробуются практически и как, с каким ожидаемым или неожиданным результатом? В итоге предлагается любопытный этюд о «русских» и «американцах», достойный того, чтобы его здесь кратко резюмировать.

Для американцев, по Унгеру, расхожее представление о несчастье ассоциируется с впадением в личную зависимость, подверженностью чужой воле, пребыванием на милости и во власти другого. Защитой от этой опасности в их глазах выйдут безличность правил и процедур, а также упаковка властно-иерархических отношений в приятные оболочки приятельской или коллегиальной псевдоинтимности, «жизнерадостной, обезличенной дружественности» [Unger 1987: 109]. Русских такие решения убеждают и удовлетворяют тем менее, что они склонны предполагать неизбежность зависимости в любой социальной форме, начиная с семьи: отношения эксплуатации, обмена и взаимной любви переплетены слишком тесно, чтобы их можно было аккуратно и «начисто» отделить друг от друга. Сосуществование и смешение разных форм отношений делает социальные институты заведомо и непоправимо ущербными, но отречение от них может обернуться еще худшим ущербом — распадом, расползанием социальной ткани, чего русские как раз и боятся больше всего. На этом фоне, — поясняет далее Унгер, — получает распространение специфическая «хитрость» или «жульничество» (cheating) [Ibid.: 110]. Люди пытаются добиться каких-то выгод, иногда для себя, но чаще для того сообщества, в жизнедеятельности которого непосредственно заинтересованы (семья, рабочий коллектив, местная община), за счет интересов высшей власти или в ущерб институции-сопернице. «Далеко не всегда эти окольные действия приводят к прямому конфликту с законом. И далеко не всегда они осуждаются как безнравственные» [Ibid.]. В целом они складываются в привычно-противоречивую стратегию жизненного поведения, которая Унгером характеризуется как «неизлечимая, развращающая и искупительная» (incurable, corrupting, and redemptive) одновременно, — она соединяет в себе «банальный эгоизм и коллективно поддерживаемые, тесные узы доверия» (close collective loyalties) [Ibid.].

5 Они декларируются в том числе и прямо, в выразительном названии книги: «Пробужденное “я”: прагматизм без оков» [Unger 2007].

Американская стратегия уклонения от зависимости производит впечатление более революционной, поскольку открыто бросает вызов социальной иерархии, но опирается на неразумное (absurd) упрощение [Ibid.: 111]. Русский взгляд в чем-то более человечен, но в итоге и «более терпим к удушению личными побуждений властью» [Ibid.: 110]. Главное же состоит в том, что оба вида страха работают как самоосуществляющиеся пророчества: люди делают предмет опасений реальным, поскольку ведут себя так, как если бы он был реален, и таким образом конструируют, сочиняют социальную реальность второго порядка, способную их вдохновлять и их же ограничивать. Предрассудки или привычки, тем более стойкие, что подкрепляются историческим опытом и активно эксплуатируются политически, продолжают жить собственной жизнью, воспроизводя не только себя, но и «безутешный скепсис в отношении экспериментальной трансформируемости общественной жизни» [Ibid.]. Скепсис выглядит как оборонительная стратегия, защита от обмана и самообмана, но она-то как раз и снижает шанс успешной адаптации к будущему, — оборачивается слепотой в отношении «еще неисследованных и неосуществленных человеком возможностей жизни» [Ibid.: 113].

Мера «истинности» конструкции, выстроенной бразильским автором, не так важна, как ее эвристическая ценность. Она помогает понять, что паттерн поведения грозит стать «судьбой», будучи «только» устойчивым предрассудком, проявлением повседневного неразумия (insanity of the commonplace), возникающим «в сумеречной зоне между сбоем здравого смысла и недостатком воображения» [Ibid.: 111]. Коллективный субъект, как и индивид, по сути, сам себя закрепощает. Он способен, однако, и к самоосвобождению, — что Унгер ассоциирует с «негативной способностью». Этим словосочетанием романтик Джон Китс обозначил когда-то расположенность (более всего присущую поэтам, но в какой-то мере и всем людям) мириться со смысловой неопределенностью, усматривать в ней не препятствие, а ресурс смыслообразования⁶. В глазах Унгера это базовая прагматическая ценность, описываемая посредством неологизма: «разукрепление» (disentrenchment), «обретение силы через разукрепление» (empowerment through disentrenchment) [Ibid.: 249]. Отсутствующее в словарях, причудливое слово подразумевает ставку на осознанно-взвешенное доверие субъекта к себе и, как следствие, разумное бесстрашие перед лицом изменений. Разумеется, куда более привычна и «естественна» для нас ассоциация между ощущением силы (power), наращиванием силы (empowerment) и «укрепленностью» позиции (entrenchment), наличием сильной институциональной «рамки». Но, возражает Унгер, наделяя индивида силой, социальный институт одновременно подчиняет его себе, и стремление укрепить свою позицию нередко сочетается в человеке со страхом самоутраты. Альтернативным источником силы видится способность к воображению, внутренне связанная со способностью к творчеству и отношением доверия, включая и доверие к себе. Доверие предполагает терпимость к неопределенности, готовность встать в позицию другого, не отрекаясь от собственной, — а также способность занять в отношении властных институтов позицию, не ведущую ни к их «голому» отрицанию, ни к капитулянтству.

6 См.: «...то состояние, когда человек предается сомнениям, неуверенности, догадкам, не гоняясь нудным образом за фактами и не придерживаясь трезвой рассудительности» [Китс 2011: 68].

Реформистскую программу Роберто Унгера многие считают слишком умерительной, романтической и литературной. С социологической и практической точек зрения это, конечно, изъясн, но в самой установке на понимание социального опыта через эстетический и эстетического опыта — через социальный есть немалая эвристическая ценность. К ней чуток, например, Роджер Селл, один из самых многоопытных на сегодня теоретиков литературной прагматики: секретом «литературности» он предлагает считать именно Китсову «негативную способность», притом в толковании, близком к тому, что изложено выше. Литературность, полагает Селл, — это такой модус вовлеченности в художественный текст, который сохраняет за читателем свободу творческой инициативы, уверенность в праве сотворчества, в то же время обязывает к такту в отношении партнера по интеракции и в целом располагает к «апофатической открытости сложностям жизни» [Sell 2011: 97].

3. Бесконечный разговор на ходу

Вопрос о специфике коммуникации, поддерживаемой художественным текстом, — едва ли не ключевой вопрос литературной прагматики. Текст, по свидетельству Р. Селла, «собирает вокруг себя сообщество адресатов, а те не просто выступают в роли получателей некоего сообщения, но отвечают на приглашение совместно подумать и обменяться впечатлениями по поводу того, что видится по-разному из разных жизненных миров» [Ibid.: 26]. Виртуальное сообщество, производимое литературным текстом, отмечено «щедрой готовностью к разногласию в тех случаях, когда разногласие неизбежно, и обоюдной решимостью не приписывать какой-либо из истин статус бесспорности» [Ibid.: 194]. И та и другая дефиниции прекрасно согласуются с парадоксальной моделью образцовой, поскольку заведомо несовершенной коммуникации, которую вынашивала прагматистская мысль.

Используя метафору своего итальянского единомышленника, писателя Джованни Папини, Уильям Джеймс предлагал представить прагматизм чем-то вроде коридора в гостинице, где у каждого временного постояльца есть свое пространство, — в одном номере человек молится, в другом сочиняет стихи, в третьем ставит химические опыты [James 1987: 510]. Привести представления о жизни и жизненные задачи к общему знаменателю, монолитному единству заведомо невозможно, — на него и нет расчета. Коридор не ассамблея, не зал суда и не академическая аудитория — здесь не выносятся судьбоносные решения, не присуждаются ученые степени: коридорный разговор свободен от проформ и пафоса, он опирается на нормы простой вежливости и исключает узурпацию внимания кем-либо. Контактное пространство, представление о котором формирует метафора Джеймса, служит всего лишь для поддержания досужего соседства, но ввиду возможностей еще неочевидных, способных возникнуть в будущем, само его наличие решающе важно.

Другую известную прагматическую метафору «бесконечного разговора» (unending conversation) мы встречаем у К. Бёрка. Представим себе, предлагает философ, светскую вечеринку на опознаваемо-американский манер — общий разговор в гостиной, куда «вы» заходите слегка припоздав. Присутствующие уже обсуждают что-то (не обязательно все — одно и то же), и им некогда прерывать дискуссию, чтобы ввести вновь пришедшего в курс дела (в такой роли —

приподдавшего к началу разговора — уже побывал любой из собеседников, восстановить все ранее состоявшиеся ходы и повороты длящегося полилога не мог бы никто, да и не это по-настоящему важно). Вы вслушиваетесь некоторое время, пока не решите, что ухватить нить (*tenir* — общий смысл, течение, направленность. — *T. B.*), и готовы приложить свое усилие к к усилию общему (*put in your oar*). Кто-то возразит вам, и вы — кому-то, некто другой возьмется защищать вашу позицию, а еще некто — противоречить, тем либо обескураживая, либо радуя вашего оппонента, в зависимости от качества союзнического участия. Дискуссия, однако, не имеет конца. А час уже поздний, вам пора уходить. И вы уходите, дискуссия между тем продолжается с неубывающей живостью [Virke 1941: 110—111].

Всем русским читателям памятен, разумеется, толстовский скепсис в отношении бессмысленно крутящихся веретен салонной беседы, ее сравнение с прядильной мастерской. У Бёрка многоголосие и как-бы-обезличенность общего разговора — не признак пустоты и легкомыслия, а стратегическое преимущество. Эта модель общения чем-то похожа на бахтинский карнавал (разве что карнавальная стихия «приструнена» благоприличными манерами среднего класса): консенсус и в этом случае не предвидится, и не с ним ассоциируется ценность, а со взвесью возможностей, которые генерируются и плодятся по ходу взаимодействия.

Эта модель коммуникации по-настоящему очень напоминает литературное общение, где вопрошание предполагает диалог, диалог — другого, другой — продуктивную неопределенность, а неопределенность — открытое пространство маневра. Смысл переживается острее, будучи поставлен под вопрос, или когда он еще не вполне состоялся, или не устоялся, или стал сомнительным. Поэтому душа литературы с прагматической точки зрения — преобразование вопроса в ответ и ответа в вопрос, тонкое «искусство недостижения цели» (*the art of not arriving*) [Poirier 1992: 179], — если считать целью высказывания донесение информации или законченного смыслового тезиса. «Язык в стремлении передать поток индивидуального опыта перестает быть инструментом объяснения или достижения ясности, напротив, служит сохранению неопределенности и туманности» (*saving uncertainty and vagueness*) [Ibid.: 3]. Но не вступает ли этот приоритет в противоречие, притом разительное, со школьными практиками, в рамках которых большинство людей знакомятся с литературой как с культурным явлением?

4. «То, что преподается»

Полвека назад Ролан Барт заметил, что словосочетание «преподавание литературы» своего рода тавтология: мы склонны называть литературой именно «то, что преподается» («*La littérature, c'est ce qui s'enseigne*» [Barthes 1971: 177]). Не секрет, что литературное образование — самый консервативный компонент литературной жизни. Не слишком изменившись со времени своего формирования в XIX веке, оно предполагает (в господствующем представлении) трансляцию знания об общих ценностях, воплощенных в «каноне» образцовых текстов. Приобщение к первым через вторые должно способствовать правильной социализации, в итоге нравственному здоровью общества. В последнем, бесспорно, заинтересованы все. Но так же бесспорно и другое: в усло-

виях, когда визуальность и аудиальность не только вступают во все более плотный контакт с «буквенностью», но часто и затмевают ее, литературное образование становится по-новому проблематично. Можно сказать, что оно страдает одновременно от подверженности прагматизму и недостатка прагматизма (с учетом несовпадения бытового и научного значений слова).

Многие из филологов узнают себя — без всякой радости — в центральном персонаже романа Джона Кутзее «Бесчестье» (1999) — профессоре литературы, чья кафедра подверглась характерной для наших дней рационализации или прагматизации. Курсы по истории литературы отеснены более «полезными» занятиями типа «Введения в коммуникацию» и даже в усеченном виде кажутся ненужными, — это переживается протагонистом как профессиональное «бесчестье» (усугубляемое еще букетом болезненных личных провалов). В отношении героя романа, филолога-расстриги, читатель испытывает сложную смесь сочувствия, скепсиса и отвращения, притом не может не искать — с ним вместе — ответа на вопрос: что можно противопоставить состоянию «бесчестья»? В финале герой, так и не решаясь вернуться в лоно академии, вместо очередной монографии о романтизме сочиняет камерную оперу для банджо с небольшим оркестром — конечно, о Байроне, предмете своих пожизненных штудий, точнее, о любви Байрона, или, еще точнее, о любовном воспоминании о ней, звучащем в душе Терезы Гвиччиоли, уже постаревшей и совсем не похожей на собственный романтический образ. Профессор-писатель-композитор исполнен смиренной самоиронии и не особенно верит в успех затеи, но отказаться от нее не может, ассоциируя свои усилия с заботой о неведомом будущем. Так же и автором романа, Джоном Кутзее, завятым скептиком, движет в творчестве (по собственному его признанию) смутное чувство «ответственности перед тем, что еще не появилось» (*responsibility toward something that has not yet emerged*) [Coetzee 1992: 246]. Кажется, в производстве сходного чувства Михаил Бахтин видел смысл прозы Достоевского: она (как, наверное, любая хорошая проза) побуждает читателя поверить в то, что «ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди» [Бахтин 1963: 223]. Функция художественного воображения здесь усматривается в приспособлении не к тому, что уже состоялось, а к тому, что становится, независимо и независимо от человеческих усилий.

Прагматическое представление о литературе как о своего рода лаборатории, где осуществляется экспериментальное расширение опыта, адаптация к будущему, не противопоказано школьному литературному образованию даже при его сохраняющейся ориентации на просветительскую модель знания, передаваемого от учителя, который им владеет, ученику, который его усваивает. Но соединить эти послы нелегко, и литература как школьный предмет сегодня — источник «скрипа», возникающего за счет сопротивления, внутреннего разлада, трения несогласно движущихся частей. Этот жалобный скрип звучит одновременно с торжествующе саморекламным, о котором шла речь выше. Оба сигнала важно слышать, а думать — прежде всего о процессе (трансформации представлений о литературе), который оба сопровождают. Многие авангардистские эксперименты в XX веке были направлены на «расшатывание институционального субстрата литературы» [Арсеньев 2019: 24], даже на замещение ее авансом «чем-то вроде всеобщей коммуникативной сети по образцу современных социальных сетей» [Там же: 34]. Рано или поздно экспе-

риментальный пыл угасал, — это позволяет Павлу Арсеньеву описывать проект русских формалистов 1920-х годов как «незамеченный прагматический поворот» [Там же: 24], опробованный до времени и безвременно закончившийся. Но момент движения при этом не уходил в песок, как не исчезала и не исчезает из литературной жизни упорная склонность к саморефлексии, готовность в разных формах ставить вопрос, отсылающий к самой сути отношений пишущих и читающих: как люди становятся людьми в отсутствие заведомого нормативного аршина, в контексте взаимозаинтересованного диалога, в пространстве встречно направленного воображения?

Библиография / References

- [Арсеньев 2019] — *Арсеньев П.* Литература факта высказывания. Очерки по прагматике и материальной истории литературы. СПб.: Транслит, 2019.
- (Arsen'yev P. Literatura fakta vyskazyvaniya. Ocherki po pragmatike i material'noy istorii literatury. Saint Petersburg, 2019.)
- [Бахтин 1963] — *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963.
- (Bakhtin M.M. Problemy poetiki Dostoyevskogo. Moscow, 1963.)
- [Бине 2020] — *Бине Л.* Седьмая функция языка / Пер. с фр. А. Захаревич. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020.
- (Binet L. La Septième Fonction du langage. Saint Petersburg, 2020. — In Russ.)
- [Венедиктова 2015] — *Венедиктова Т.* Литературная прагматика: конструкция одного проекта (обзор исследований литературы как коммуникации) // Новое литературное обозрение. 2015. № 135. С. 326—345.
- (Venediktova T. Literaturnaya pragmatika: konstruktsiya odnogo proyekta (obzor issledovaniy literatury kak kommunikatsii) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2015. № 135. P. 326—345.)
- [Дёмин 2019] — *Дёмин И.* Критика классического прагматизма в философии С.Л. Франка // 150 лет прагматизма. История и современность / Отв. ред. И. Джохадзе. М.: Академический проект, 2019. С. 161—172.
- (Dëmin I. Kritika klassicheskogo pragmatizma v filosofii S.L. Franka // 150 let pragmatizma. Istoriya i sovremennost' / Ed. by I. Dzhokhadze. Moscow, 2019. P. 161—172.)
- [Китс 2011] — *Китс Дж.* Письма 1815—1820 / Пер. с англ. С.Л. Сухарева. СПб.: Наука, 2011.
- (Keats J. Letters, 1815—1820. Saint Petersburg, 2011. — In Russ.)
- [Barthes 1971] — *Barthes R.* Réflexions sur un manuel // L'Enseignement de la littérature / Sous la dir. de S. Doubrovsky et T. Todorov. Paris: Plon, 1971. P. 170—177.
- [Burke 1941] — *Burke K.* The Philosophy of Literary Form. Berkeley: University of California Press, 1941.
- [The Cambridge Companion 2007] — The Cambridge Companion to Vygotsky / Ed. by H. Daniels, M. Cole, J. V. Wertsch. Cambridge University Press, 2007.
- [Coetzee 1992] — *Coetzee J.M.* Doubling the Point: Essays and Interviews / Ed. by D. Attwell. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
- [Dewey 1934] — *Dewey J.* Art as Experience. New York: Capricorn Books, 1934.
- [Dewey 1998] — *Dewey J.* The Essential Dewey. Vol. 1: Pragmatism, Education, Democracy / Ed. by L.A. Hickman, T.M. Alexander. Bloomington: Indiana University Press, 1998.
- [Donald 2006] — *Donald M.* Art and Cognitive Evolution // The Artful Mind. Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity / Ed. by M. Turner. Oxford University Press, 2006.
- [James 1987] — *James W.* Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking // William James, Writings 1902—1910 / Ed. by B. Kuklick. New York: The Library of America, 1987.
- [Johnson 1990] — *Johnson M.* The Body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1990.
- [Literary Pragmatics 2015] — Literary Pragmatics / Ed. by R. Sell. London; New York: Routledge, 2015.

- [Lorriggio 1990] — *Lorriggio F.* Mind as Dialogue: The Bakhtin Circle and Pragmatist Psychology // *Critical Studies*. 1990. Vol. 1/2. P. 91—110.
- [Pragmatism and Embodied Cognitive Science 2016] — *Pragmatism and Embodied Cognitive Science: From Bodily Intersubjectivity to Symbolic Articulation* / Ed. by R. Madzia, M. Jung. Berlin: De Gruyter, 2016.
- [Poirier 1992] — *Poirier R.* Poetry and Pragmatism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
- [Sell 2011] — *Sell R.* Communicational Criticism: Studies in Literature as Dialogue. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2011.
- [Turner 1996] — *Turner M.* The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford and New York: Oxford University Press, 1996.
- [Unger 1987] — *Unger R.* False Necessity. Anti-Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
- [Unger 2007] — *Unger R.* The Self Awakened: Pragmatism Unbound. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
- [West 1989] — *West C.* The American Evasion of Philosophy. A Genealogy of Pragmatism. Madison: The University of Wisconsin Press, 1989.
- [Zlatev 2005] — *Zlatev J.* What's in a schema? Bodily mimesis and the grounding of language // *From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics* / Ed. by B. Hampe. Berlin: Mouton de Gruyter, 2005. P. 313—342.